



Л. Е. Бляхер

ГОСУДАРСТВО И НЕСИСТЕМНЫЕ СЕТИ «ЖЕЛТОРОССИИ», ИЛИ ЗАПОЛНЕНИЕ «ПУСТОГО ПРОСТРАНСТВА»

Исследование роли неявного знания, когнитивного фона и его компонентов в процессе принятия политических решений и политическом процессе вообще уже не одно десятилетие пользуется «правами гражданства» в политологии¹. Однако наличие серьезных и фундированных работ этого направления, в том числе и на русском языке², пока довольно слабо сказывается на изучении конкретных политических феноменов в России. Теоретические модели существуют как бы сами по себе, автономно и самодостаточно, а эмпирические исследования продолжают традицию «школьного знания», перекладывая на отечественную почву демоверсии расхожих концепций, или «вырабатывают теории» из подручных материалов конспирологического толка³.

Число политологических текстов на русском языке, где теоретические положения «спускаются» на уровень анализа конкретных политических «кейсов», конкретных ситуаций, крайне невелико. К ним относится, в частности, чрезвычайно интересное исследование роли метафоры в иранской революции Н. Кулюшина⁴, а также анализ социальных сетей итальянской мафии, проведенный Е. Алексеевской⁵. Примечательно, однако, что материалом, к которому прикладывается соответствующий теоретический инструментарий, выступают экзотические для российской политической науки казусы. Собственная же «почва» пока «вспахивается» главным образом за счет угадывания, интуиции⁶. Между тем экспликация фонового (неявного) знания отечественной политики, ключевых когнитивных схем и базовых концептов политического класса и самих «управляемых» способна дать ключ к пониманию глубинных причин видимых и фиксируемых противоречий, внешне выглядящих абсолютно иррациональными. В качестве «кейса», позволяющего продемонстрировать «работу» неявного знания в организации политического процесса, в этой статье будет использован когнитивный диссонанс, детерминирующий сегодня протекание «диалога» между федеральным центром и наиболее отдаленной периферией России — ее Дальним Востоком.

За последние несколько лет Дальний Восток неожиданно для себя (и для России в целом) вошел в моду. Начиная с 2006 г. количество статей о регионе в центральной прессе увеличилось более чем в 3,6 раза⁷. Темы, так или иначе связанные с Дальневосточным федеральным округом (подготовка к форуму АТЭС 2012 г. во Владивостоке, строительство

¹ Лакофф 1990; Московичи 1998.

² Мисюрлов 1999.

³ Дерябин 1998.

⁴ Кулюшин 2007.

⁵ Алексеевская 2009.

⁶ Пивоваров 2006.

⁷ По результатам контент-анализа пяти общероссийских газет («Известия», «Российская газета», «Коммерсантъ», «Аргументы и факты», «Независимая газета») и четырех интернет-изданий («Новый регион», REGNUM, Газета.Ру, Грани.ру).

трубопровода из Восточной Сибири к Тихому океану, более или менее регулярные визиты первых лиц, борьба с коррупцией и ввозом японских иномарок, «желтая угроза», сотрудничество с АТР и т.д.), почти не покидают страницы газет и интернет-таблоидов, вызывая неугасающий интерес.

Но интерес этот довольно специфичен. Сюжеты, касающиеся собственно региона, его городов, его людей, ситуации в тех или иных социально-экономических и политических сферах, значительно уступают по частоте (примерно в 2,4 раза) темам, к которым Дальний Восток России *имеет отношение*. Регион каждый раз оказывается важен не сам по себе, а как средство достижения чего-то внешнего по отношению к нему. Через него проходит труба, по которой сибирский газ должен попасть к потребителям в АТР. Из его портов отходят танкеры с углеводородным и иным сырьем. Через него в европейскую часть России и в Европу проникают мигранты. «По нему...», «через него...» — вариантов множество. Существенно меньше статей, написанных в жанре «...и это все о нем». Показательно, что даже в проекте Концепции стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, разработанном Минрегионом в 2007 г.⁸, основное место отводится описанию социально-экономического положения... стран АТР. Сам регион как-то «выпадает» из сферы интересов как журналистов, так и чиновников.

Еще более странно, что блага (инвестиции, льготы и т.д.) и известность, внезапно пролившиеся на ДВФО, чаще всего вызывают негативную реакцию населения. Несмотря на все возрастающую государственную опеку и заботу, уровень депривации жителей и их миграционная готовность здесь не снижаются, но даже растут⁹. Если в ходе опросов 2000—2004 гг. удовлетворенность своим положением выказывали порядка 40% респондентов, а готовность покинуть регион — 54%, то в 2008 г. соответствующие показатели составляли 27 и 63%. Для того чтобы эксплицировать истоки подобной «неблагодарности» дальневосточников, имеет смысл обратиться к тому самому неявному знанию и его влиянию на коммуникацию между федеральным центром и регионом.

Несколько лет назад мною было проведено исследование политических мифов Дальнего Востока¹⁰, в ходе которого выяснилось, что ключевыми мифологемами, структурирующими «коллективное воображаемое» и определяющими самоидентификацию жителей региона, являются представления о «*богатом регионе*» и его «*бескрайних просторах*». Вместе с тем обнаружилось, что этот *богатый* регион в рамках тех же коллективных представлений *беден*, ибо его богатства «не доходят до жителей региона»¹¹.

Вина за такое положение вещей, в глазах дальневосточников, отчасти лежит на самих жителях ДВФО, взявших на себя патриотическую функцию защиты восточных рубежей отчизны. Ведь Дальний Восток — не просто один из регионов страны. Это — *форпост* России в АТР, ее

⁸ Концепция 2007.

⁹ По результатам опроса, проведенного под руководством автора в 2008 г. в Хабаровском крае (выборка квотнотерриториальная, генеральная совокупность — население Хабаровского края старше 18 лет, n = 879). Результаты сравнились с результатами мониторингов социального самочувствия населения 1999—2009 гг., проводимых ДВР-центром.

¹⁰ Бляхер 2004б.

¹¹ Баринаева, Кутузов 2004.

крепость. К крепости же нельзя подходить с общей меркой, тем более с меркой экономической. Но еще больше виновна в бедности региона «Москва» (центральная власть). Именно она обязана содержать «гарнизон крепости», именно она *бросила* свою крепость в трудный час, именно она *грабит* ресурсы Дальнего Востока. *Обида на Москву* — один из наиболее устойчивых мотивов регионального метанарратива. И поскольку Москва бросила Дальний Восток на произвол судьбы, этой крепости с постоянно сокращающимся гарнизоном со всех сторон угрожают враги. Самый сильный из устойчивых компонентов региональной идентичности конца 1990-х — начала «нулевых» годов, проявляющийся и в интервью, и в выступлениях местных политиков, и в статьях журналистов, — «*китайская угроза*». Данные мифы и определяют тональность и направленность диалога, который политические лидеры региона, да и иные (самые разные) «артикуляторы» массовых настроений пытаются вести с федеральной властью.

Примечательно, однако, что вопреки постоянно декларируемому в региональном политическом дискурсе «непониманию» центром специфики Дальнего Востока, до середины «нулевых» годов коммуникация между местным и «московским» политическими сообществами осуществлялась достаточно легко и, как будет показано ниже, вполне эффективно для самого дальневосточного региона. Но примерно четыре-пять лет назад ДВФО внезапно стал осознаваться как наиболее проблемная часть РФ. Регион охватила эпидемия уголовных дел в отношении крупных региональных и федеральных чиновников. Местные газеты запестрели статьями о «гибели» региональной экономики, возросла — и продолжает расти — миграционная и протестная готовность населения.

Как известно, любая коммуникация, тем более коммуникация политическая, построена на системе ожиданий. Участник коммуникации исходит из определенного «образа» своего контрагента, определенной логики его действий. Особенное значение подобные ожидания приобретают в условиях, когда взаимные действия уже многократно предпринимались и были успешными. Если ожидания не оправдываются, а именно это имеет место в нашем случае, возникает коммуникативный сбой, и, чтобы проследить его истоки, необходимо проанализировать установки всех участников коммуникации, их «образы» в глазах друг друга — только так можно обнаружить, что именно «не сработало». Но образы, детерминирующие коммуникацию, неизбежно базируются на системе политических мифов. Поэтому, чтобы выявить причины нарушения «понимания» между населением региона и руководством страны, объяснить некоторые выступающие на поверхность черты политической жизни региона, нужно рассмотреть *мифы о Дальнем Востоке* в системе представлений жителей западной (европейской) части страны, сопоставив их с «мифами» самих дальневосточников. Однако прежде чем приступить к решению этой задачи, целесообразно вкратце остано-

виться на природе политического мифа и его роли в организации политической коммуникации.

**Несколько
вводных
соображений
о политическом
мифе и не только
о нем...**

Политический миф — модный объект и политологического, и политического осмысления, чаще всего наделяемый негативными коннотациями. Он воспринимается как неистинное, ложное знание, используемое той или иной группой для манипуляции общественным сознанием, подчинения его своим эгоистичным целям¹². На основании этого, как правило, делается вывод о необходимости «разоблачения» мифа, демонстрации его неподлинности¹³. Не вдаваясь в полемику о сути и функциях политических мифов, сформулирую несколько тезисов, на которые буду опираться в дальнейшем изложении.

¹² Лобок 1997.

¹³ Цуладзе 1999.

По моему глубокому убеждению, политический миф, как и миф вообще, есть не ложное или ошибочное знание, но знание, не требующее проверки. Политический миф предстает истиной просто потому, что он миф. В этом своем качестве он не нуждается в подтверждении чем-либо, кроме себя самого. Его наличие детерминирует отбор фактов, концепций и т.д. в научном и политическом дискурсе. Точнее, любая имеющаяся реальность интерпретируется в мифологических формах.

Миф — принципиально контрфактичная структура. Его не компроектирует никакая совокупность фактов, предъявленных индивиду. На этом, в частности, основана устойчивость «ложных» смыслов и механизмов смыслоозначения. Например, образ «добротого царя», одна из ключевых мифологем российской социальной жизни, отнюдь не разрушается при столкновении с не очень добрым — скорее держатель высшей власти начнет восприниматься как «самозванец» (а самозванец — как «добрый царь»)¹⁴. С таким положением вещей сталкиваются критики любой мифологемы. Можно сколь угодно долго приводить факты, опровергающие мифологическую конструкцию. Носитель мифологемы способен даже признать истинность этих фактов. Но сами факты им не генерализируются. Спасая свой мир, основанный на мифе, он выдвигает сильнейшую идеализацию: «А почему бы и нет?».

¹⁴ Эйдельман 1991.

В этом плане миф — не «слово» в лингвистическом или культурологическом понимании¹⁵, а образец, далеко не всегда артикулируемый напрямую. Достаточно часто миф остается на уровне смыслового фона, интерпретационного контекста. Наличие такого контекста позволяет группе осуществлять совместную деятельность, несмотря на различия целей и мотивировок. «Конфликт интерпретаций» здесь выносится за рамки коммуникативного акта, не участвует в конструировании общей реальности. Так, миссионерскую деятельность православных священнослужителей среди коренных народов Дальнего Востока не особенно затрудняло то обстоятельство, что легитимные для аборигенов формы группового брака квалифицировались миссионерами как «разврат», «сожительство братьев с сестрами». Этот момент просто опускался в ходе коммуникации.

¹⁵ См. Барт 2000.

Другими словами, миф — это организующее коммуникацию коллективное знание, которое обеспечивает совмещение когнитивных горизонтов членов группы. Индивидуальные «возможные миры» соединяются в мифе в единую intersубъективную реальность. Между такими мирами проводятся «мировые линии», позволяющие отождествлять предметы и действия в разных мирах, опознавать объект вне зависимости от того смысла, который ему в этих мирах приписывается. Миф не сводится к слову или иному демонстрируемому артефакту либо смыслу. Он представляет собой сложный и целостный смысловой комплекс. Появление одного (демонстрируемого) элемента активизирует в сознании членов группы всю совокупность смыслов. Происходит предвосхищение целого через часть. Существование такой целостности создает базу для отделения «своего» пространства от «чужого», объединяет разнородные элементы в общую сверхсхему, на основе которой и конструируется реальность. Наличие общей или сводимой к некоему общему знаменателю системы мифологических представлений автоматически делает коммуниканта «своим», наделяя транслируемую им информацию изначально высоким доверием.

Описанные выше особенности мифа проявляют себя и в политическом пространстве. Подобно любому другому мифологическому образованию, политический миф выступает не столько инструментом манипуляции, сколько несущей конструкцией, задающей параметры отграничения «своего» пространства от чужого, друга от врага. Ведь чтобы миф мог использоваться в качестве инструмента манипуляции, манипулятор и манипулируемый должны быть включены в разные мифологические системы, ориентироваться на разные мифы. Однако в такой ситуации нет «совмещения горизонтов», а следовательно — и коммуникации. В лучшем случае у манипулятора может возникнуть иллюзия, что он создал некий мифогенный механизм вроде «национальной идеи». Если же управляющий и управляемый находятся в одном мифологическом пространстве, обеспечивающем полноценную коммуникацию, то оно в равной мере детерминирует поведение и первого, и второго, делая невозможной манипуляцию мифом или мифологическим сознанием. Попытка «выйти за миф» будет успешной только при том условии, что она опирается на другой миф. Восставшие английские крестьяне пели: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?». Иначе говоря, основанием для критики дворянства, власть которого освящалась мифологической традицией, служила иная, более древняя, а потому более значимая мифологема, связанная со Священным Писанием.

Но, выйдя «за миф», человек попадает в другое мифологическое пространство. Его действия перестают коррелировать с действиями членов прежней группы. Он оказывается в положении *чужака* и может управлять лишь посредством силового принуждения. Более того, осмысленные прежде коллективные действия лишаются для него всякой логики, ибо логика этих действий основана на мифе. В результате он

утрачивает возможность не только управлять происходящим (как политик), но и понимать его (как ученый).

Лица, придерживающиеся разных мифологических представлений, пребывают в разных реальностях, непересекающихся и потому не сводимых к некоему эквивалентному (устраивающему всех участников коммуникации) единству. Для того чтобы, находясь в рамках иной мифологической системы, организовать коммуникацию с данной, необходимо создать «сверхсистему», снимающую межсистемные противоречия. Однако подобного рода сверхсистема часто оказывается иллюзорной.

Особенно остро переживается ситуация, когда отсутствие общей системы мифологических представлений обнаруживается у частей одного политического целого. Когда действия управляющих строятся на ином мифологическом основании, нежели действия управляемых, они не встречают понимания, что влечет за собой и утрату доверия. Сохраняя легальность в качестве действий легальной власти, они теряют легитимность. Именно этот сценарий и определяет сегодня положение дел на Дальнем Востоке. Действия центра, исходящего из «внешних» представлений о регионе и не стремящегося включить (или подавить) внутренние, не могут быть адекватно осмыслены социальным сообществом региона и потому отторгаются. «Мы» управляемых локализуется в регионе (дальневосточники), государство же начинает восприниматься как «они» («Москва», «Запад»). Более того, поскольку дальневосточники ощущают себя прежде всего гражданами РФ¹⁶, действия «Москвы» («Запада») оказываются «внешними» по отношению не только к Дальнему Востоку, но и к России в целом, осмысляясь как немотивированное структурное насилие, систематическое вторжение государства в частную сферу жизни человека.

Как показывают в своей работе В.Сергеев и Е.Алексеев, подобное вторжение является отнюдь не исключением, но нормой взаимодействия государства и индивидов даже при наиболее либеральных режимах. Несмотря на все декларации, постулирующие автономию личности, государства эпохи Модерна постоянно вторгаются в частную сферу граждан и стремятся приблизить свою власть к «власти» в ницшеанском и шмиттовском смысле, то есть к господству¹⁷. Однако при сохранении доверия общества к государству это вторжение семантически сглаживается, легитимируется. В некоторых ситуациях оно трактуется как особый, чрезвычайный случай, который не может и не должен осмысляться в общем ряду взаимодействий между индивидом и властью, общим же принципом становится его оправдание: вторжение как бы санкционируется самим гражданином (подобно тому, как обращение к врачу санкционирует право последнего совершать в отношении пациента действия, этически недопустимые для кого-либо другого).

Но отношения доверия базируются именно на системе взаимно разделяемых нерелексированных представлений, создающих и поддер-

¹⁶ Согласно результатам упоминавшегося выше опроса, для более чем 90% жителей ДВФО первой самоидентификацией является «гражданин России», а «дальневосточник» — второй.

¹⁷ Алексеев, В. Сергеев 2008.

живающих общий когнитивный горизонт. Опора на общие представления придает действиям государства легитимность в глазах граждан. Гражданин сливается с государством, а государство — с обществом и страной. (Не случайно понятия «государство» и «страна» в 9 случаях из 10 используются как синонимы.) Наличие общей когнитивной модели (схемы) обеспечивает предсказуемость поведения государства и общества, тем самым позволяя выработать «правила игры». В рамках этих правил и складываются отношения доверия, усиливающиеся с каждым успешным актом взаимодействия. При отсутствии же общей мифологической основы и когнитивной модели реальности на передний план выдвигаются различия между интересами гражданина и государства, и оно начинает восприниматься как «внешняя сила», а осуществляемое им вторжение в частную сферу — как нелегитимное. Формируется то, что М.Олсон называет «негативным социальным капиталом»¹⁸. Государство перестает быть инструментом социальной интеграции или, по меньшей мере, уже не осознается в качестве такового. Более того, как убедительно показал А.Филиппов, политическое вторжение в этом случае разрушает социальную ткань общества, выступает сильнейшим дезинтегратором¹⁹.

¹⁸ Олсон 1998.

¹⁹ Филиппов 2006.

Негативный социальный капитал, превращающий властное воздействие в структурное насилие, порождает потребность в посреднике, который нивелировал бы нелегитимное воздействие государства. Такого рода посредник не может быть легальным по определению — ведь место легального силового предпринимателя уже занято государством, однако он легитимен, поскольку обеспечивает необходимый уровень социальной интеграции, позволяющий социальным агентам выживать под прессом государственного воздействия. Но если в случае Италии реализация этой схемы привела к противостоянию легального, но нелегитимного и легитимного, но нелегального силовых предпринимателей (государства и мафии соответственно)²⁰, то казус Дальнего Востока несколько сложнее.

²⁰ Алексеенкова 2009.

Начиная со второй половины 90-х годов XX в. связь между Дальним Востоком и европейской частью России становится все более прозрачной. По данным опросов, проводившихся в 1997—1999 гг., доля дальневосточников, которым довелось в обозримое время побывать в столице, не достигала и 5%, а за общероссийскими новостями следило лишь около 15% жителей ДВФО. Примерно таким же был уровень интереса к региону и информированности о нем в Москве (и среди населения, и в коридорах власти). В сложных политических процессах конца XX столетия Дальнему Востоку просто не находилось места, тем более что «работа» с ним была затруднена удаленностью и разорванностью коммуникаций, а его электоральный вес — ничтожен. Поэтому от местной власти требовалось лишь внешнее выражение лояльности — и способность самостоятельно решать внутрирегиональные проблемы.

И здесь чрезвычайно пригодились система дальневосточных политических мифов, как бы соединявшая в себе мифы для внутреннего

и внешнего применения. К первым относились мифы, связанные с ограблением региона, противопоставлением «Москве» и «китайцам». За счет них создавалась региональная идентичность и обеспечивалась мобилизация населения, они же позволяли губернаторскому корпусу получить безусловную поддержку своего электората в качестве защитников Дальнего Востока и посредников между ним и «Москвой». В отношениях же с центром на передний план выдвигались образы (мифы) «богатого» (то есть потенциально полезного) региона и «форпоста», защищающего территориальную целостность страны. Разумеется, приведенное выше деление мифологем сугубо условно, и в сознании своих носителей они составляли неразрывное единство, но именно это-то и давало возможность, сообразуясь с ситуацией и объектом коммуникации, что-то проговаривать открыто, а что-то просто подразумевать. При этом демонизация «Москвы» и «Китая» отнюдь не препятствовала ни организации приграничной торговли с южным соседом, ни выбиванию трансфертов из федерального бюджета. В свою очередь, слабая заинтересованность федеральной политической элиты, занятой борьбой за власть и раздел «советского трофея», в судьбе региона не мешала декларациям о важности дальневосточных рубежей и выделению трансфертов (не особенно щедрых) для их сохранения. Возникла некая третья реальность, не сводимая ни к дальневосточной, ни к «московской», но устраивающая как одну, так и другую сторону. В рамках этой реальности и сложились «правила игры» 1990-х годов. «Москва» представляла в глазах региона *Другим*. Но далеким Другим, таким, с которым выработаны вполне приемлемые формы взаимодействия.

Дистанцирование между регионом и центром вело к восприятию государственного воздействия как внешнего и а priori враждебного, а главное — не способного (в силу удаленности и ограниченности) в полном объеме осуществлять функции интегратора, что неизбежно запускало механизм альтернативной социальной интеграции. Однако организаторами такой интеграции были вполне легальные *государственные деятели* регионального уровня. Их легальность, сочетающаяся с легитимностью, сообщала определенную легальность и самой альтернативной интеграции, которая не осознавалась даже как альтернативная, не говоря уже о протестной. Тем более удивительной для дальневосточников оказалась ситуация, когда эта интеграция и задаваемые ею правила были объявлены нелегальными, а социальная ткань региона — «несистемными сетями». Данная интрига и определяла происходившее в ДВФО в «нулевые» годы.

Экономический подъем, начавшийся после троекратной девальвации рубля в 1998 г. и совмещившийся с ростом цен на энергоносители, привел к тому, что интерес Москвы к Дальнему Востоку из сугубо теоретического превратился в прикладной. Федеральный центр «вернулся» на Дальний Восток. Из далекого Другого он внезапно стал «близким», не перестав при этом быть для большей части населения Другим. Но Другим для центра оказался и сам регион. Здесь-то и

возник конфликт. Анализ этой нетривиальной ситуации наиболее логично начать с экспликации мифов о Дальнем Востоке, существующих в сознании жителей Центральной России и властных кругов.

Мифы о Дальнем Востоке России

²¹ Перечень см. примечание 7.

Для выявления ключевых мифологем, определяющих восприятие дальневосточной окраины за ее пределами, я использовал материалы центральных газет и интернет-изданий²¹ за 1999—2009 гг. и Концепцию стратегии социально-экономического развития ДВФО и Байкальского региона, возникшую в недрах Минрегиона в 2007—2008 гг. В ходе контент-анализа мною отбирались концепты, наиболее часто используемые для характеристики Дальнего Востока. Сразу же отмечу, что по частоте употребления отобранные концепты в 5,7 раза опережают все остальные, что позволяет считать их репрезентантами глубинных коллективных представлений (мифов), а не частным мнением журналиста или издания. Показательно также, что вне зависимости от «генеральной линии» издания перечень ключевых концептов сохраняется, допуская лишь незначительные частотные вариации.

Выделенные концепты можно разделить на позитивные и негативные. На создание позитивного образа региона «работают» концепты (по убывающей): «выход в АТР», «природные богатства», «форпост России», «ресурс будущих поколений» (в некоторых изданиях последние два концепта могут меняться местами по частоте употребления). Круг концептов, формирующих негативный образ Дальнего Востока, заметно шире. Наиболее частотные здесь: «удаленность», «безлюдье» («сокращение населения», «бегство» и т.д.), «миграция», «демографическое давление на границы» (политкорректный вариант концептов «китайская угроза»²², «желтая угроза», «тихая экспансия», тоже встречающихся крайне часто), «сложные природно-климатические условия», «тяжелый социально-экономический кризис», «преступность», «тотальная коррупция». Постоянно присутствует в информационном пространстве и относительно новая тема «правого руля», «поддержанных иномарок» и «протестов автомобилистов». Самым же популярным негативным концептом остается «угроза». При суммировании этих представлений возникает довольно мрачная картина. Богатому региону, являющемуся воротами России в АТР, ее форпостом и залогом ее будущего, угрожают захват, обезлюдение, экономический кризис, преступность и коррупция. Этот мотив и муссируется в средствах массовой информации, да и в экспертных суждениях.

Но Дальний Восток — не просто «богатый регион». Это регион, в котором остро заинтересовано государство, причем заинтересовано оно в нем прежде всего в силу наличия там богатых природных ресурсов и «нераспределенных» (или подлежащих перераспределению) стратегических месторождений²³, а главное — в силу его транзитных возможностей («...оттуда ближе до динамичных рынков АТР»²⁴). Идея «форпоста»

²² По числу упоминаний «китайская угроза» опережает, скажем, «японскую» почти в 3,4 раза.

²³ Независимая газета. 09.11. 2007.

²⁴ Там же.

²⁵ См. Ишаев 1998.

России, бывшая ключевой в XIX—XX столетиях, сегодня гораздо важнее для самих дальневосточников, нежели для внешнего наблюдателя²⁵.

Не так все просто и с угрозами, ставшими такой же неотъемлемой составляющей образа региона, как и представления о его богатстве. Начну с так называемых «объективных угроз» в виде *сурового климата*, *удаленности* от центра страны и Центра вообще (сама семантика именованья), *слабой заселенности*. Казалось бы, эти параметры не нуждаются в обсуждении. Как мы знаем из книг, кинофильмов и т.п., Дальний Восток — это бесконечные заснеженные дали, таежные дебри, редкие стоянки охотников и рыбаков. Однако нарисованная картина, мягко говоря, не совсем соответствует действительности, и каждый из ее компонентов скорее дань определенной исторической традиции, нежели фиксация реального положения дел.

В упоминавшейся выше Концепции стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона территория ДВФО разделена на три зоны: абсолютно дискомфортную, экстремально дискомфортную и просто дискомфортную. Классификация эта выглядит вполне оправданной — но только в том случае, если за достаточный уровень комфортности принять климат Гавайских островов. Температурный режим южной части Дальнего Востока, где сконцентрировано основное население региона, существенно более благоприятен для проживания, чем климат, к примеру, Ленинградской или Вологодской области. Средняя температура летом — от +17 до +26 градусов, зимой — от –8 до –25 (что по меркам России отнюдь не катастрофично). Действительно, на территории региона находится мировой полюс холода (Оймякон, Верхоянск). Но ведь и население там менее 10 тыс. человек, рассредоточенных на гигантском пространстве. Откуда же взялось подобное представление?

На мой взгляд, все дело в двух смысловых переносах, свершившихся на заре освоения региона. Первый — перенесение образа «холодной Сибири» на еще более удаленные, а значит — еще более холодные земли²⁶. Вторым перенос связан со спецификой освоения региона. Опорным пунктом продвижения на Дальний Восток в XVII столетии оказался не относительно «южный» Иркутск, а «северный» Якутск²⁷. Само же продвижение шло вверх по Лене и далее до Охотска и Анадыря. Эти районы (богатые «мягкой рухлядью» и «рыбьим зубом», за которыми, собственно, и отправлялись) и впрямь оставляли желать лучшего в климатическом отношении. Опыт хозяйствования в Приамурье в XVII—XVIII вв. был относительно кратковременным и в целом не особенно успешным и потому не оказал принципиального воздействия на восприятие региона. Более того, история осады Албазина и отступления из Приамурья стала своего рода политико-невротической травмой, старательно вытесняемой из памяти. Позднейшее же освоение Приамурья и Приморья накладывалось на уже сформировавшийся образ «сурового края».

²⁶ Асланханов 1963.

²⁷ Кабузан 1985.

В последующие годы «суровость» географо-климатических условий региона активно использовалась дальневосточными политиками для обоснования «особого» отношения к региону и прикрытия собственных хозяйственных просчетов. Так, расходы на формирование приграничного казачьего населения (переселяемого из Забайкалья и частично с Кубани) в XIX в. на 30% превысили запланированные. Еще больший перерасход пришелся на каждую версту Транссиба и КВЖД²⁸. В советский период «трудными климатическими условиями» объясняли катастрофический уровень бытового обеспечения строителей Комсомольска-на-Амуре и БАМа²⁹, слабое развитие социальной инфраструктуры в регионе. Кроме того, «суровость» климата и связанные с ним «районные» и «северные» надбавки стали важным элементом региональной самоидентификации. Не случайно для старшего поколения жителей Владивостока самой негативной фигурой советских лет до сих пор остается Н.Хрущев, отменивший ряд льгот для жителей города и края.

²⁸ История 1983.

²⁹ Заусаев 2009.

Не менее надуманными являются и две другие «объективные угрозы» — удаленность и редкое население. Однако поскольку они тесно смыкаются с «внешнеполитическими угрозами» («превращение в сырьевой придаток», «демографическое давление на границы», «заселение Дальнего Востока китайцами» т.д.), их разумнее рассматривать в общем блоке.

В XVIII—XIX вв. удаленность Дальнего Востока носила абсолютный характер. Центр страны и центр мира (Европа) были бесконечно далеко. Только из них в регион, крайне медленно, притекали люди и инновации, причем всякий раз притекали в «пустоту». Местное (стабильное) население было слишком незначительным по сравнению с людскими потоками извне. Местные ресурсы не шли ни в какое сравнение с ресурсами «централизованными». Сокращение «входящих» ресурсов в связи с временной утратой интереса к региону (истощение запасов пушного зверя, открытие более богатых и легкодоступных месторождений серебра и т.д.) вело к немедленной деградации большей части поселений, оттоку населения на запад. Но уже в конце XIX — начале XX столетия прозвенел «первый звонок», свидетельствующий о том, что удаленность региона перестает быть абсолютной. Появление европейцев в Китае и поражение России в русско-японской войне 1903—1905 гг. знаменует начало нового этапа в развитии Дальнего Востока. Ближайшее окружение из «пустого» становится враждебным.

Соответственно, формируется и образ *форпоста*. Пространство региона превращается в осажденную крепость, противостоящую враждебному окружению, а население — в ее гарнизон. Природные богатства Дальнего Востока отходят на второй план, откладываются на будущее. На авансцену выходит ВПК в качестве основы экономики³⁰. Показательно, что принятый в 1930-е годы первый советский план освоения региона имел ярко выраженный военный характер. Да, здесь развивалось океаническое рыболовство, но гораздо активнее строились базы

³⁰ Кузин 2004.

для военных кораблей и подводных лодок. Да, здесь складывался агро-промышленный и природопользовательный комплекс, но куда более значимыми были заводы по производству танков («Дальдизель»), двигателей для подводных лодок («Дальэнергомаш»), самолетов (КНААПО) и т.д. Эта ситуация сохранялась до последних лет существования СССР. Конечно, и здесь были свои «приливы» и «отливы». Так, отмечался некоторый спад интереса к региону в послевоенное десятилетие. Однако в целом «приливная» тенденция доминировала. Более того, строительство БАМа способствовало и возрождению образа «богатого региона», требующего хозяйственного (не военного) освоения.

Последнее десятилетие XX — начало XXI столетия внесли в эту тему свои коррективы. Дальний Восток оказался «дальним» только для собственной столицы. По соседству с ДВФО появляются многочисленные «глобальные города»³¹ (Токио, Осака, Шанхай, Гонконг и т.д.) с качественно более активной экономикой, втягивающей в себя хозяйственные системы окружающей их периферии. Тут-то и происходит концептуализация новых угроз, точнее, переосмысление старых. Неизбежная ориентация периферийного региона на города — «ворота в глобальный мир» вступает в противоречие с образом форпоста. А представление о «враждебном» окружении трансформируется в идею «демографического давления» на границы со стороны соседей, готовых «поглотить» регион.

Довольно скоро этот образ (миф) начал определять и «объективное», «научное» описание ситуации в регионе. «Если на всем российском Дальнем Востоке проживает 7,4 млн. человек, то в северо-восточных провинциях КНР — 102,4 млн.»³² При этом плотность населения в первом случае составляет всего 1,2 человека на 1 кв. км, во втором — 124,4 человека³³, — читаем мы в одной из статей зав. отделом социального развития и факторных рынков Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Е.Мотрич. «В последние десятилетия отмечается резкое снижение уровня жизни населения Дальнего Востока, утрачены сравнительные преимущества региона в области доходов граждан, ухудшилась социально-экономическая и экологическая ситуация. Уровень реальных доходов в этом сложном по климатическим условиям регионе сегодня ниже, чем среднероссийский. В результате численность населения, особенно сельского, сокращается быстрыми темпами», — доказывает зам. директора Института Дальнего Востока РАН В.Портяков³⁴.

Итак, редкое и стремительно сокращающееся население с одной стороны Амура и избыточное, с массой свободных рабочих рук, — с другой. Но попробуем приглядеться внимательнее. Представляется, что с уважаемыми исследователями здесь сыграло злую шутку административное деление России и неравномерность распределения населения по территории административных единиц. Возьмем, к примеру, Хабаровский край. Средняя по краю плотность населения (а в статистических справочниках приводятся данные именно по субъектам Федерации) —

³¹ Сергеев, Казанцев 2007.

³² В некоторых «исследованиях» можно встретить и цифру 200 млн.

³³ Мотрич 1999.

³⁴ Портяков 2004.

1,8 человека на квадратный километр. Однако в районах, примыкающих к границе, она составляет уже от 6 до 20 человек на квадратный километр, а в приграничном Хабаровске — более 1,5 тыс.³⁵ Еще плотнее населен Приморский край. Но миф диктует потребность в ином «знании». Не случайно прогнозы демографов, по расчетам которых при сохранении современных тенденций депопуляции к 2050 г. население Дальнего Востока может упасть до 4 млн. человек³⁶, преподносятся некоторыми авторами как свершившийся факт³⁷.

³⁵ Алешко 2001.

³⁶ Гликман 2009.

³⁷ Чернов 2003.

Мало соответствуют действительности и представления о «бегстве населения». Подавляющую часть из тех самых порядка 1 млн. 200 тыс. человек, которых лишился Дальний Восток за последние два десятилетия, составляют уехавшие в начале 1990-х годов, в эпоху стремительного распада империи. Понятно, что сокращение населения на этом не остановилось, но по численности оно уже не превышало общероссийские показатели, причем заметное место в нем заняла естественная убыль, прежде почти не влиявшая на общую картину. Конечно, эта ситуация тоже не радует, однако ее вряд ли можно назвать катастрофической. Существенно и то, что во многих дальневосточных субъектах Федерации сохранилась вполне благоприятная возрастная структура с преобладанием молодых людей.

Под миф подстраиваются и описания положения дел «по другую сторону Амура». Численность населения Дальнего Востока, как правило, сопоставляют с населением провинций, граничащих с Забайкальем и Прибайкальем (при этом забывая «приплюсовать» их население). Если же ограничиться территориями, непосредственно прилегающими к дальневосточным, «давление» окажется гораздо менее впечатляющим: 6-миллионному населению российского приграничья противостоит 70—75-миллионное китайское население. Перепад, безусловно, весьма значительный, но он мало чем отличается от перепада между северными районами США и южными районами Канады, а едва ли кому-то придет в голову вести речь об «американской угрозе» по отношению к Канаде. И вообще не вполне понятно, почему соотношение населения в приграничных районах осознается как угроза.

Ответ кажется очевидным — «они уже здесь»! Китайцы уже заселили Дальний Восток России. Приводимые цифры варьируют в диапазоне от нескольких десятков тысяч (официальные данные миграционной службы — 34 тыс. граждан КНР, имеющих разрешение на длительное проживание в регионе) до миллионов «нелегальных мигрантов» (существующих исключительно в воспаленном воображении авторов). Даже в «строгих» и «компетентных» исследованиях, как правило, суммируются все лица, пересекшие границу России и КНР: трудовые мигранты, туристы, студенты, предприниматели, ученые, приезжающие на конференции, и т.д. Отсутствие четкой методики контроля и сколь угодно достоверных сведений о длительности пребывания создают почву для самых разнообразных спекуляций.

Действительно, жители сопредельных районов Китая активно участвуют в экономических процессах в регионе. Это обстоятельство отрицать трудно (да и незачем). Но гораздо труднее понять, почему оно вызывает столь бурную реакцию. Китайские рабочие обеспечивают трудовыми ресурсами дальневосточный строительный комплекс³⁸ и службы ЖКХ. Китайские коммерсанты организуют мелкооптовую торговлю товарами народного потребления, открывают предприятия общепита, инвестируют средства в сельское хозяйство региона, индустрию досуга и гостеприимства. Иными словами, китайцы создают ту самую социальную инфраструктуру, без которой невозможно достижение декларируемых целей развития Дальнего Востока и повышение уровня жизни его населения. В чем же опасность? Ведь все предельно эмоциональные описания Дальнего Востока вызваны не чем иным, как гнетущим чувством угрозы, предощущением чего-то, что радикально изменит ситуацию в регионе, причем изменит ее в нежелательном направлении.

³⁸ По экспертным оценкам, приводимым Г.Осиповым и Н.Дидух (см. Осипов 2007; Дидух 2009), доля граждан КНР среди дальневосточных строителей составляет около 60%.

Не вызывает сомнений, что часть ответственности за создание дальневосточных «страшилок» лежит на самих дальневосточниках. Именно эти «страшилки» позволяли региону привлекать к себя внимание центральной власти, не давая ему окончательно выпасть из политического пространства страны. Именно благодаря им удавалось выбивать субсидии (пусть не особенно щедрые) из федерального бюджета. Именно они заставляли принимать многочисленные (и почти никогда не выполнявшиеся) программы развития региона.

Но ведь если бы такие «страшилки» не встречали отклика в сознании ключевых политических акторов и массовых слоев населения, они навряд ли имели бы успех, как не имела его, скажем, идея воссоздания ДВР, некогда популярная среди части дальневосточной интеллигенции и благополучно канувшая в лету. Однако образ сурового и «пустого», но богатого региона, на который покушается сильный сосед, оказался созвучен общественным настроениям, слился с образом Дальнего Востока, отторгая все, что не вписывается в него.

Подобные установки и лежали в основе государственных программ развития региона на протяжении более чем столетия. Менялись представления о «богатстве» региона (земля, золото, лес, биоресурсы и т.д.), но не характер и направленность властного воздействия. И сегодня, когда речь заходит о новых подходах к проблемам Дальнего Востока, эти новые подходы трактуются как «эффективное использование природных ресурсов региона (ископаемых, рыбных, лесных); создание транспортно-логистического коридора как для российских, так и для европейских хозяйственных связей со странами АТР; модернизация хозяйственной структуры Дальнего Востока за счет частичной переработки транзитного сырья и полуфабрикатов и достройки „верхних“ этажей народохозяйственного комплекса»³⁹.

³⁹ Смирнягин 2008.

На первый взгляд, описанные выше мифы о Дальнем Востоке практически идентичны мифам самого Дальнего Востока, тем самым,

использование которых позволило региональному руководству (не путать с населением ДВФО) организовать эффективную коммуникацию с федеральным центром. В известной степени это так, но имеется один нюанс, и связан он с восприятием Дальнего Востока как «пустого», «безлюдного», «редко населенного». Принципиальные расхождения в трактовке соответствующих концептов и стали причиной глубокого когнитивного диссонанса между дальневосточниками и федеральным центром.

**Заполнение
«пустого
пространства»**

Что же не устраивает жителей региона в восприятии его в качестве «пустого»? Ведь достаточно близкое понятие («редкое население») используется в большей части дальневосточных «страшилок». Для ответа на этот вопрос попробую описать данный концепт в рамках дальневосточной и внешней мифологических систем.

⁴⁰ Бляхер 2004а.

«Пустота», «редкое население» для дальневосточников — это прежде всего подчеркивание значимости каждого человека. И дело тут не в каком-то особом — гуманистическом — духе дальневосточников. Просто в условиях относительной малочисленности населения и развитых сетевых структур⁴⁰ ничей ресурс не оказывается лишним, и при изменении ситуации (сокращение господдержки, смена приоритетов и т.п.) именно конвертация людьми своих уникальных умений в некую спасительную форму деятельности обеспечивает выживание региона. «Нас — дальневосточников — мало. Именно поэтому важен здесь каждый. Удержать, привлечь этих людей, чьими усилиями жил и развивался регион, — задача всех государственных проектов»⁴¹.

⁴¹ Песков 2004.

Такое отношение связано и со спецификой освоения региона. Выше уже упоминалось, что периоды активной «государственной заботы» о продвижении на восток, когда в регион текли финансовые и людские ресурсы, поступали хлеб и ткани, железо и войска, чередовались с периодами «временного охлаждения». Но и во времена «приливов» поддержку получала далеко не любая деятельность. Официально в регионе присутствовало только некое ключевое направление. На разных этапах истории такими направлениями были пушнина, серебро, золото, железнодорожное строительство, рыбный промысел, военно-промышленный комплекс. С наступлением очередного «прилива» менялось начальство, менялись приоритеты, а вместе с ними — и вся легальная социально-экономическая структура региона, подстраивавшаяся под эти приоритеты. Остальная часть населения с ее хозяйственной активностью исчезала из официальных отчетов, превращалась в «невидимок».

В периоды политических осложнений или хозяйственных неурядиц регион переходил в «режим консервации». Вместе с прекращением государственной поддержки «входящих» миграционных потоков прекращались и сами потоки. Исчезали сезонные рабочие и пришлое купечество. Застывала видимая хозяйственная и культурная жизнь. Населе-

ние региона заметно (порой почти в полтора раза) сокращалось. Зато актуализировались «невидимки». Точнее, все пространство внутри региона становилось «невидимым» для государства. Существенной оставалась только задача обороны границы.

В «невидимом» регионе резко возросло значение «невидимых» форм деятельности «невидимых» людей, их индивидуальной активности. Местная хозяйственная активность в условиях ослабления административного давления позволяла пережить трудные времена в ожидании, когда политическая воля вновь направит на дальневосточную окраину людей, финансы, материальные ресурсы. Именно эта «невидимая» местная активность создавала относительно комфортные условия существования на Дальнем Востоке, где развитие социальной сферы всегда отставало от развития производства. Более того, благодаря «невидимкам» здесь формировалась особая «проточная культура», призванная «гасить» избыточные инновации, идущие из столицы, приспособливать их к местным условиям⁴². Тем самым «пустота» региона оказывалась по-своему очень «наполненной». И хотя задававшие структуру социальной ткани, ее неформальную часть «невидимки» были слишком слабы, чтобы диктовать свою волю вновь прибывшим (в периоды деградации значительная часть жителей покидала регион), они были достаточно сильны, чтобы трансформировать легальную структуру, обеспечивая выживание населения Дальнего Востока и в кратчайшие сроки превращая «государево око» в лидера местного сообщества⁴³.

⁴² Подробнее см. Бляхер 2004а.

⁴³ Ремнев 2004.

Поскольку то, что имелося в регионе, не находило места в отчетности, а то, за что чиновнику надлежало отчитываться, отсутствовало, документально регион представлял «пустым» и в глазах центра. Однако смысл концепта здесь был иным. Возникал естественный метафорический перенос. Для имперских чиновников или сотрудников Госплана «пустота» региона была лишена смысловой и ценностной окраски. «Пустые земли» рассматривались только как пространство для освоения, чистая возможность, у которой не могло быть собственных интересов. Во всяком случае «на бумаге» освоение региона каждый раз начиналось с нуля. То, что на месте современного Комсомольска-на-Амуре уже был поселок, никак не отражено в мифологии «города на заре». Местные интересы не то чтобы игнорировались. О них просто не знали. Они не существовали юридически.

Потому-то властное воздействие и воспринималось в регионе как чуждое, Другое. Но именно с ним на Дальний Восток текли ресурсы, качественно большие, чем ресурсы местного сообщества. Эти ресурсы нужно было только соответствующим образом направить, перераспределить по сети. Они были необходимы и желательны, как любой дополнительный и не сопряженный с особым риском ресурс. Однако для их использования требовалось, с одной стороны, принять мифологему «пустого и сурового пространства» (чтобы ресурсы потекли), а с другой — знать, что оно «не совсем пустое» (чтобы потекли они в правильном направлении). В итоге центральная власть в очередной раз

осваивала «пустынные земли», преодолевая «естественные трудности», а местное сообщество получало необходимые для развития ресурсы.

Так, из металла, с избытком выделявшегося на нужды Камчатской экспедиции, кроме корабельной «оснастки» (якорей и т.д.) изготавливались плуги, косы и иной сельскохозяйственный инвентарь, причем о таком «нецелевом использовании» знало все руководство экспедиции. Казаки, которые должны были защищать границу от проникновения китайцев, с негласного одобрения начальства нанимали тех же китайцев для освоения выделенных им участков целинных земель⁴⁴. Об эффективности подобной системы свидетельствует тот факт, что в начале XX в. бедняков на Дальнем Востоке было почти в 1,7 раза меньше, чем в целом по России⁴⁵. Другой вопрос, насколько целесообразной экономически являлась она для государства, — но экономическая целесообразность вряд ли была для империи определяющим параметром. Эта эквифиальная идилия и оказалась нарушена на рубеже XX и XXI вв.

⁴⁴ Асланханов 1963.

⁴⁵ История 1983.

Здесь сказались несколько обстоятельств. Во-первых, вопреки устойчивым представлениям, в период политических неурядиц 1990-х годов регион потерял относительно небольшую, по сравнению с прежними кризисами, долю населения. Если раньше в периоды деградации Дальний Восток покидало 30—50% жителей⁴⁶, то на этот раз речь шла о десяти с небольшим процентах уехавших. Остальные не то чтобы не хотели переселиться. Скорее в те годы им просто некуда и не на что было ехать, а позже нужда в переселении (бегстве) стала менее острой. Эти оставшиеся 90% составляли уже достаточно внушительный слой, способный заметно влиять на осуществление властного воздействия, во всяком случае на местном уровне. Кроме того, у государства не было возможности «разбавить» его потоками новых переселенцев.

⁴⁶ Унтербергер 1900.

Во-вторых, оставшиеся «невидимки» оказались в непривычных для окраины условиях. Традиционно — и вполне логично — «абсолютно удаленный» Дальний Восток в периоды деградации стремительно архаизировался. Весьма показательна в этом смысле легенда о том, что в годы первой мировой войны колеса в Приамурье смазывали сливочным маслом вместо солидола. Поскольку инновации шли только с «запада», а «запад» был временно заблокирован, регион переходил на «натуральное хозяйство» с установкой на автаркию, выживал. Выживать он начинает и в 1990-е годы — но в принципиально ином, чем прежде, окружении.

Падение «железного занавеса» поставило Дальний Восток России лицом к лицу с наиболее интенсивно развивающимися экономиками мира. Азиатские «ворота в глобальный мир» оказывались гораздо ближе и доступнее, чем собственные, «национальные ворота»⁴⁷. Их агрессивная экономика остро нуждалась в природных ресурсах, которыми богат регион, и готова была за них платить. Расцвет «челночной» торговли, всколыхнувший население региона, и приватизация дальневосточной части «советского трофея» создали необходимые для включения в международную торговлю накопления.

⁴⁷ Сергеев, Казанцев 2007.

В отличие от «большого трофея», который делился «на западе», в европейской части страны, дальневосточный «трофей» носил довольно специфический характер. Он состоял в основном из предприятий ВПК, чей продукт был не особенно рентабелен, а торговля им шла вразрез с интересами государства. Не случайно наиболее современные предприятия региона пребывают сегодня в жалком состоянии в ожидании федеральных вливаний. Гораздо большую ценность имели «побочные» виды деятельности: вылов ценных пород рыб и иных морепродуктов (рыболовецкие флотилии), добыча полезных ископаемых, лесные деляны и т.д. За них и велась борьба в первой половине 1990-х годов. Бесспорно, рыбу вполне можно было бы потребить на месте, а из леса — настроить избы, но торговля приносила качественно больший доход и торгующим, и Дальнему Востоку в целом. В кратчайшие сроки доходные виды внешнеэкономической деятельности становились массовыми, обрастали подсобными и смежными производствами, так или иначе втягивая в себя подавляющую часть населения. Спортивные ассоциации и комсомольские органы, рабочие бригады, землячества и университетские кафедры в 1990-е годы почти мгновенно развернулись в бизнес-сети, чему способствовала традиционная сетевая структура социальной ткани региона.

Через приграничную торговлю регион постепенно включался в глобальный товарооборот. Навстречу лесу, рыбе и полезным ископаемым шли товары народного потребления, вычислительная техника, автомобили, валюта (судя по косвенным данным, баланс теневой торговли был активным) и многое другое. Конечно, регион интегрировался в АТР не совсем так, как мечталось идеологам Дальнего Востока, не в статусе постиндустриального центра, но в качестве поставщика ресурсов, то есть в качестве «хоры», а не метрополии. Но даже такое положение делало традиционные виды деятельности доходными и экономически эффективными, особенно если учесть, что основной оборот товаров и финансов протекал вне государственного фискального контроля и, следовательно, имел все преимущества «льготного налогообложения»⁴⁸. Показательно, что в середине 1990-х годов стоимость потребленных населением Дальнего Востока услуг почти на 40% превышала его совокупный ВРП. Примерно так же соотносились «заявленный доход» и номинальная заработная плата⁴⁹. И хотя просчитать точный объем теневого оборота товаров и услуг в регионе, тем более в условиях трансграничного взаимодействия, чрезвычайно сложно, приведенные данные говорят о его крайней значительности.

В первой половине 1990-х годов, в «романтический» период развития отечественного бизнеса, функции обеспечения экономического порядка и поддержания бизнес-культуры в регионе, как и по всей стране, осуществляли прежде всего криминальные структуры⁵⁰. Преступный мир Дальнего Востока оказался наиболее организованным и наименее «отягощенным» наследием советской патерналистской психологии силовым сообществом. В результате именно он и стал регулятором

⁴⁸ Бляхер 2000.

⁴⁹ Заусаев 2009.

⁵⁰ Бляхер 2000.

⁵¹ Именно борьба за контроль над этой сферой и породила печально известный «всплеск преступности» на Дальнем Востоке в конце 1990-х годов. Будучи осмыслен как «криминальный беспредел», за который «авторитеты» и «платили» сроками, процесс вытеснения прежних организаторов бизнеса обретал легитимность, в том числе и в глазах населения.

⁵² Нечаев 1997.

отношений в самых доходных секторах нарождающегося бизнеса. Однако уже к концу 1990-х годов региональной власти удалось вытеснить его из сферы «производства порядка»⁵¹, что связано не только с бесспорными преимуществами государства в осуществлении насилия, но и с новым уровнем организации бизнеса. Из приграничной торговли он превратился в сложную систему экономических связей, вполне интегрированных в глобальную экономику и дистанцированных от экономики остальной части страны (в России потреблялось менее 4% продукции региона). Немаловажно и то, что в силу своей абсолютной незаконности криминальные структуры не могли организовать диалог с центром и тем самым обеспечить бизнесу необходимый для активного международного сотрудничества уровень легальности. Региональные власти с этой задачей справились. Бизнес-сообщества Дальнего Востока постепенно срастались с властными сетями в регионе и бизнес-структурами за его пределами.

На рубеже столетий, еще до подъема цен на энергоносители, когда на Россию обрушился шквал нефтедолларов, регион вступил в полосу хозяйственного расцвета. Обеспечившая его деятельность хотя и обрела определенную степень легальности и была абсолютно легитимной в сознании жителей региона, носила в основном «серый» характер и потому относительно слабо отражалась в статистике. Зафиксированные в официальных данных тенденции развития Дальнего Востока полностью укладывались в структуру дальневосточных «страшилок», мало чем отличаясь от присущих большей части депрессивных регионов⁵². В сознании властей предрержащих (и не только их) Дальний Восток оставался «пустым». В невидимом же пространстве происходило становление сложной и динамичной системы.

Участие в мировой торговле, незначительное в процентном выражении (менее 3% от совокупного оборота стран СВА), но вполне достаточное для населения региона, дало толчок росту внутререгионального потребления. Дальний Восток строится, обзаводится социальной сферой, которой он был лишен все годы освоения. Дальневосточные капиталы инвестируются и в экономику региона, и в экономики сопредельных стран (Китая, Кореи, Канады и др.). Рабочих рук начинает не хватать. На помощь приходят соседи. В строительстве, лесном секторе, сельском хозяйстве граждане Китая и не менее многочисленные, хотя и менее популярные среди отечественных СМИ граждане Северной Кореи постепенно вытесняют местных работников — точнее, последние по большей части предпочитают иные, не столь трудозатратные и более доходные сферы деятельности.

Дальний Восток не то чтобы процветал — ведь он оставался лишь «хорой», придатком постиндустриальных центров, — но все же вполне успешно выживал и даже развивался. Вразрез с традициями освоения дальневосточных территорий, переход в «режим консервации» не привел к качественному сокращению или деградации региональной структуры. Структура не сократилась, но трансформировалась, включив

⁵³ За последние годы Хабаровск не раз признавался самым благоустроенным городом страны. В свою очередь, Владивосток превосходит все другие российские центры по количеству автомобилей на душу населения и уровню развития автосервиса.

в себя множество новых элементов. Возникает сложная логистическая сеть. Формируется сеть ресторанов достаточно высокого класса, сложный и разветвленный автосервис. Интенсифицируется местная культурная жизнь, организуются фестивали, создаются новые театральные коллективы. Появляется масса подсобных производств: от бирж и страховых обществ до предприятий по сборке компьютеров и дорожных машин. Развивается индустрия гостеприимства. Региональные столицы обзаводятся необходимым лоском⁵³. Как некогда массивованные контакты между Россией и Китаем вызвали к экономической жизни Китайскую Маньчжурию, так на рубеже столетий контакты с сопредельными государствами позволили выжить дальневосточной окраине России. Как и тогда, это стало возможным благодаря мощному взаимопроникновению культур, экономик, социальных сетей. Крайне неприязненное отношение к китайцам, преобладавшее в середине 1990-х годов, все больше сменяется нейтральным, прагматическим. Не редкостью становится и восхищение деловыми качествами китайских партнеров.

В конце XIX — начале XX столетия территорию КВЖД и Ляодунский полуостров называли «желтороссией», тем самым подчеркивая значимость русского элемента в социально-экономической и культурной жизни Северного Китая. Сегодня этот термин вполне уместно применить к южной части Дальнего Востока и Тихоокеанскому побережью России. Именно социальные сети «желтороссии» и оказались под ударом в период экономического подъема РФ в «нулевые» годы. Причина проста. Страна вновь вспомнила о наличии дальневосточных территорий.

Сначала вспомнила несмело. Так... легкий налет ностальгии о Дальнем Востоке, связанный с борьбой за сахалинский шельф. Затем властное воздействие со всем причитающимся набором благ обрушилось на регион, создав новый поворот сюжета. Ведь осваивали, как и прежде, «пустое пространство», а наткнулись на заполненное, на желтороссию. Эта «заполненность» региона и была осмыслена как *внутренняя угроза*, что вызвало и *ответную* реакцию центральной власти, и *защитные* действия дальневосточной периферии. Такое неожиданное для обеих сторон столкновение создало почву для рождения нового мифа — мифа о «тотальной коррупции», «чиновном беспределе» в регионе. Данную коллизию я и попытаюсь рассмотреть ниже.

Коррупция как альтернативный механизм социальной интеграции: опыт ассимиляции несистемных сетей

Проблема «тотальной коррумпированности» Дальнего Востока всплыла относительно недавно. В качестве обязательной, имманентной характеристики региона она начинает фигурировать с 2006—2007 гг. Ее предшественник, миф о преступном мире Дальнего Востока как наследника ГУЛАГа и «планеты Колымы», имел совершенно иной смысл и функцию. Как уже говорилось, он отражал борьбу криминальных и государственных силовых предпринимателей за контроль над бизнес-

сетями. Победа региональной власти и фиксировалась как победа над преступностью. Коррупционность же дальневосточных чиновников не особенно беспокоила федеральные власти. Не исключено, конечно, что просто руки не доходили. Тут «ЮКОС», нефтегазовый конфликт с Украиной... Может быть, и так. Но возможна и иная интерпретация. Борьба с коррупцией, как показал Г.Мюрдаль, всегда выступала эффективным инструментом силового взаимодействия внутри государственных структур и давления государства на несистемные элементы политического пространства⁵⁴. Но если высшие должностные лица государства ощущают потребность в обращении к такому инструменту, значит, есть или мнится некая значимая угроза. В чем же она?

⁵⁴ См. Мюрдаль 1972.

Вместе с государством в регион пришли нефтегазовые проекты, обусловленные стремлением создать восточную альтернативу европейскому рынку энергоресурсов. Не вдаваясь в спекуляции о том, насколько серьезным было это стремление, отмечу, что оно привело к интенсификации финансирования региональных проектов, нацеленных на использование транзитных возможностей дальневосточных территорий: строительство трубопроводов, железной дороги, портовых мощностей, автодорог и терминалов из «планов» стало переходить в конкретные программы. Однако это не вызвало особого восторга у спасаемого региона. Причин здесь несколько. Важнейшая из них заключается в том, что дальний Другой (государство, центр), символически легитимирующий регион, но не вмешивающийся в его дела и не имеющий в отношении него особых запросов, внезапно превратился в ближнего Другого со своими интересами, никак не связанными, во всяком случае — напрямую, с интересами жителей. Для реализации этих интересов требовались ресурсы (строительные мощности, транспорт, люди и т.д.), которые приходилось отвлекать от «кормящей» Дальний Восток деятельности, — поначалу незначительные (например, рабочих со строительных объектов в Хабаровском крае перебрасывали на Камчатку для воплощения в жизнь проекта газификации области), затем все более существенные. Соответственно, чем масштабнее оказывались проекты, тем сложнее было поддерживать уже сложившуюся инфраструктуру. Но и это было не главным. В конце концов, из центра шел тот же самый ресурс, позволявший восполнять потери. Вокруг этого ресурса тоже стали формироваться сети, перераспределявшие его в интересах более широкого круга акторов.

Дело в том, что «возвращение» России на Дальний Восток несло с собой не только улучшение финансового исполнения федеральных целевых программ, но и прекращение «льготного» правового режима, прежде всего таможенного, который так никогда и не был введен *de jure*, но действовал *de facto*. На протяжении всех 1990-х годов руководство экономикой дальневосточных субъектов Федерации полностью лежало на их лидерах, либо только формальных, либо формальных и неформальных одновременно, которые неизбежно вступали в альянс (отсутствие такого альянса неминуемо ставило под удар как выполне-

ние губернатором своих функций, так и бизнес-деятельность неформального лидера). В последнем случае возникало разделение труда. Неформальный лидер руководил экономикой субъекта Федерации и определял его внутреннюю политику, а формальный организовывал диалог с центром и обеспечивал экономической системе региона необходимый уровень легальности. Вполне понятно, что в качестве «стационарного бандита» (по модели М.Олсона) подобный индивидуальный или коллективный глава региона был заинтересован в повышении доходности «своего» бизнеса и прежде всего в неформальных выплатах, ведь выплаты формальные приходилось делить с федеральным бюджетом, доля которого год от года становилась все больше. Соответственно, формальные выплаты снижались, и федеральный центр до поры смотрел на это сквозь пальцы.

Еще более значимым было взаимопонимание в области таможенной политики и режима пересечения границы, поскольку именно таможенная открытость позволяла хозяйству Дальнего Востока взаимодействовать с инновационной экономикой «глобальных ворот» СВА⁵⁵. Но дело не сводилось к одной только открытости. На региональных таможнях дальневосточные предприятия пользовались немалыми преференциями. Их грузы «мягче» и, что принципиально в российских условиях, быстрее досматривались, а совокупные издержки (сборы, неформальные платежи, убытки от потери времени и др.) заметно уступали по объему издержкам «чужих», хоть и российских фирм⁵⁶. Причины понятны. И таможенники, и бизнесмены, и региональные власти, и население были заинтересованы в том, чтобы деньги и товары не уходили на сторону. В силу этой коллективной заинтересованности льготы «московских» фирм при прохождении ими таможенных коридоров реализовывались только под жестким давлением центральной власти. Транзитные каналы региона, ведущие во внешний мир, по сути, замыкались в самом регионе. Это и создавало конкурентные преимущества дальневосточной продукции на рынках АТР. Она там действительно была дешевле, чем внутри страны. Но подобный региональный протекционизм едва ли мог устроить государственные корпорации и другие предприятия, чьи грузы простаивали на дальневосточных таможенных переходах и в портах, подвергаясь самому суровому досмотру.

Данная ситуация и была осмыслена как «разгул коррупции», что в принципе соответствовало дефиниции, но слабо коррелировало с установками жителей региона. Ф.Бродель, описывая ситуацию с поставками хлеба на Кипр, с которыми не справлялись венецианцы, говорит о «как бы контрабанде»⁵⁷, то есть контрабанде, о которой все знали и которая фактически была условием существования столь важного для венецианской империи острова. Аналогичным образом был организован правовой и таможенный режим на Дальнем Востоке России. Но этот способ организации регионального сообщества и его материального обеспечения вошел в противоречие с задачами федеральной власти, причем, что немаловажно, вошел неожиданно. Ведь согласно

⁵⁵ Показательно, что с таможенной открытости начинал развитие своих отдаленных территорий и Китай (см. Рыжова 2008).

⁵⁶ Гликман 2009.

⁵⁷ Бродель 2002.

мифологическим представлениям (которые, как уже говорилось, вполне согласовывались со статистическими данными, зачастую еще более мифическими) регион был «пуст» и «беден» и остро нуждался в инвестициях, людях и т.д. Наличие у «пустоты» собственных — и жестко отстаиваемых — интересов оказалось шоком и вызывало шоковую же реакцию. Пришедшие на Дальний Восток вместе с очередным полпредом О.Сафоновым люди в погонах направили свои усилия на «наведение порядка» в страдающем от коррупции регионе, не отдавая себе отчета ни в сути явления, ни в его масштабах. Началось «закручивание гаек» на таможне, в милиции, миграционной службе и т.д., были заведены уголовные дела на ряд крупных чиновников регионального уровня.

Поскольку казавшееся «Москве» противоестественным положение воспринималось местными игроками как нормальное, а местная власть по большей части обладала легитимностью, внешнее воздействие было осознано как структурное насилие и привело к консолидации региональных властных и экономических сетей, тем более что законодательная норма, с которой центр «вернулся» на Дальний Восток, формировалась под те самые масштабные проекты и структуры, которые составляли конкуренцию местным видам деятельности. «Правила игры», выработанные за полтора десятка лет, начали давать сбои.

В рамках сложившейся системы производство порядка и безопасности было возложено на местные власти, победившие в жестких схватках 1990-х годов «криминальные крыши». При этом формальный статус властного лица не имел значения. Он мог считаться федеральным, региональным или даже муниципальным служащим — главное, чтобы он обеспечивал эффективное функционирование сети, экономическую транзакцию. В этих условиях вряд ли приходится удивляться тому, что именно местные власти (в широком понимании) и попытались «амортизировать» воздействие формального права, понимая его гибельность для хозяйственного комплекса региона.

Законодательная норма не отвергалась; она принималась — и игнорировалась. Конечно, какую-то часть региональных ресурсов пришлось пустить на создание видимости исполнения правовых норм, какими-то игроками пожертвовать. Так, владелец золотопромышленной артели «Амур» — одного из наиболее доходных предприятий региона — был обвинен в «злоупотреблении полномочиями», лишился собственности в России и сегодня проживает в США⁵⁸. Череду примеров можно множить. Но в целом «правила игры» сохранялись. Несколько усложнился механизм взаимодействия, в число «региональных льготников» попал ряд предприятий федерального значения — и только.

По существу, способность «гасить» внешнее воздействие, приводить его в соответствие с внутренними «правилами игры» и была критерием эффективности местной власти. В какой-то момент казалось, что эквифинальность может быть восстановлена на новом уровне, что, хотя по мере проникновения в регион общероссийских компаний и госкорпораций, поддерживаемых федеральной администрацией, компетенции

⁵⁸ Показательно, что, как только артель «Амур» поменяла владельца, интерес к тому, чтобы «посадить олигарха», исчез.

местной власти сужались, она вполне в состоянии выступить в своей традиционной роли посредника между регионом и центром, обеспечив местным видам деятельности (таким, как экспорт леса и морепродуктов, импорт автомобилей, добыча неэнергетического сырья и др.) возможность и дальше следовать утвердившимся в ДВФО правилам. Основания для «сдержанного оптимизма» были — во всяком случае, с точки зрения дальневосточников. Ведь все требования центра были выполнены, наиболее прибыльные легальные производства поменяли собственника, «Единая Россия» неизменно побеждала на выборах. Сбор налогов с дальневосточных территорий возрастал.

Однако развитие событий пошло по иному сценарию. Властный центр с удивлением обнаружил, что его действия по наведению порядка и борьбе с олигархами, широко и искренне поддерживаемые «вообще», предстают в глазах дальневосточников по меньшей мере не вполне легитимными, как только речь заходит о местных олигархах и местном «порядке». Камнем преткновения явилось стремление использовать транзитные возможности региона, поскольку эти возможности уже использовались — и не совсем так, как хотелось бы государству. Поток ресурсов из региона или через регион в страны СВА и встречный поток «на запад» воспринимались местным сообществом как очередное ограбление региона. Дальний Восток упорно не желал становиться мостом между Европой и Азией. Более того, назначенный в 2005 г. на должность полпреда в ДВФО бывший мэр Казани К.Исхаков, в полном соответствии с отмеченной выше закономерностью быстро превратившийся из проводника установок центра в лидера регионального сообщества, попытался «пробить» проект, позволявший развести интересы дальневосточных и «московских» экономических акторов путем создания особых экономических зон и особого «приграничного режима». Внешнее воздействие оказывалось малоэффективным. Оно не распространялось на «пустоту», а пробивалось через уже сформированный и устоявшийся социальный массив. Это и стало толчком для начала борьбы с коррупцией на Дальнем Востоке. Сменивший Исхакова Сафонов был назначен полпредом с единственной целью — «декриминализовать» вверенный ему округ, то есть подавить действующие там сети альтернативной социальной интеграции.

Специфика развернувшейся на Дальнем Востоке войны между государством и сетями альтернативной социальной интеграции заключалась в том, что она велась в рамках самих государственных структур. Как правило, высшее начальство, состоявшее из федеральных назначенцев, зависевших от «Москвы», стремилось положить конец «самоуправству на местах», в то время как представители среднего и нижнего звена тех же ведомств, будучи жителями Дальнего Востока, отстаивали «справедливость» (i.e. местные интересы), обвиняя пришлых силовиков в «превышении должностных полномочий». Но главным инструментом и той, и другой стороны служила борьба с коррупцией. Показательна ситуация, когда наиболее ярый борец с коррупцией на Дальневосточной

⁵⁹ Дятликович 2008; Независимая газета. 06.23.2009.

таможне Э.Бахшецян оказался на скамье подсудимых по обвинению в коррупции, причем сам считал себя жертвой таковой⁵⁹.

«Антикоррупционная» война, охватившая регион, породила странную ситуацию, когда одновременно действовали и прежние «правила игры», и «новые» законодательные нормы. Власти различного уровня и функции в хозяйственной системе (с ориентацией на местные или на «федеральные» формы деятельности) вели ожесточенные бои, бросив бизнес на произвол судьбы. В результате хозяйственная активность в регионе резко пошла на убыль. Попытки «защитить» его с помощью давно опробованных протекционистских мер каждый раз давали обратный эффект. Так, само принятие закона, запрещавшего вывоз необработанного леса, хотя закон этот так и не был введен, привело к переориентации традиционных потребителей дальневосточного «кругляка» (Республики Корея и Китая) на канадский лес. Новые правила вылова рыбы и выделения соответствующих квот в 2006 г. поставили «на прикол» в самый разгар путины большую часть рыболовецкого флота. С ужесточением контроля над соблюдением миграционного законодательства на грани срыва оказались не только проекты, связанные с жилищным строительством, но и возведение многих значимых промышленных объектов. А такая тривиальная протекционистская мера, как повышение пошлин на ввоз иномарок, обернулась печально известной «праворульной эпопеей».

⁶⁰ Гликман 2009.

Возможно, спад хозяйственной активности в регионе и не столь велик, как это утверждают руководители некоторых дальневосточных предприятий, приводящие апокалипсические цифры⁶⁰, однако он виден невооруженным глазом, причем именно в тех отраслях, которые слабо зависят от государственных инвестиций (лесная отрасль, вылов морепродуктов, импорт техники и т.д.). Отдельные территории уже превратились в иждивенцев центра (пожалуй, самый показательный пример — ЕАО, экономика которой полностью зависит от федеральных трансфертов). Ведь, сломав прежние правила, центр не предложил им значимой альтернативы. «Вливания» в экономику региона в целом были меньше, чем доход от экспорта сырья, да и распределялись они между гораздо более узким кругом лиц. Однако выступления автомобилистов, при том что с ними удалось относительно легко справиться, похоже, вызвали к жизни иную программу. Сильнее всего пострадавший от вторжения извне Приморский край до 2012 г. может не волноваться о своем будущем. Невероятный для региона федеральный трансферт на проведение саммита АТЭС позволяет задействовать большую часть краевых мощностей и трудовых ресурсов. На Дальний Восток спешно переводятся производства из иных, менее странных регионов страны.

Оценкой успешности «борьбы с коррупцией» стала отставка Сафонова и назначение на его пост «местного» губернатора В.Ишаева. Фигура последнего и символизирует «мирный договор» между социальными сетями «желтороссии» и «федерального центра». Не то чтобы «антикоррупционная» война утихла совсем, но назначение Ишаева

изменило в ней расстановку сил и саму задачу федеральной власти. По сути, на Дальнем Востоке сегодня реализуется уникальный проект по интеграции несистемных сетей. В его логику вписываются и последние договоренности В.Путина с руководством Китая, вызвавшие столь бурную и неоднозначную реакцию в России и совершенно спокойную — в Китае. И дело здесь не в том, что китайцы выиграли, а россияне проиграли. Просто для Китая, изначально строившего вполне легальные (со своей стороны) отношения с дальневосточными территориями, в этих договорах практически нет ничего нового — разве лишь то, что китайских рабочих реже станут «щипать» российские блюстители порядка. А вот для России новое есть. Кроме традиционных договоров по энергетике, соглашения содержат стремление институционализировать уже сложившиеся экономические отношения, включить их в рамки общей хозяйственной системы. Насколько успешной окажется эта попытка, покажет ближайшее будущее. Собственно, именно об этом сегодня спорят ученые, бизнесмены и политики региона. «Уйдут» ли деньги из региона или останутся здесь? В первом случае несистемное противодействие и деградация региона, увы, неотвратимы. Во втором — дальневосточные сети окажутся включены в общероссийскую политическую и экономическую структуру. И это будет уже совсем-совсем другая история.

Библиография

- Алексеевкова** Е.С. 2009. Государство и альтернативные формы социальной интеграции: структурное насилие против «omerta» // *Полития*. № 1.
- Алексеевкова** Е.С., **Сергеев** В.М. 2008. Темный колодец власти (О границе между приватной сферой государства и приватной сферой личности) // *Полис*. № 3.
- Алешко** В.А. 2001. *Социально-экономическое развитие Хабаровского района*. — Хабаровск.
- Асалханов** И.А. 1963. *Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири в XIX веке*. — Улан-Удэ.
- Барина** М., **Кутузов** М. 2004. *Некоторые размышления об очередной попытке дальневосточного прогресса* (<http://povestka.ru/default.asp?id=strategy&idp=9>).
- Барт** Р. 2000. *Мифологии*. — М.
- Бляхер** Л.Е. (ред.) 2000. *Изменение поведения экономически активного населения в условиях кризиса (На примере мелких предпринимателей и самозанятых)*. — М.
- Бляхер** Л.Е. 2004а. Потребность в национализме, или Национальное самосознание на Дальнем Востоке России // *Полис*. № 3.
- Бляхер** Л.Е. 2004б. Политические мифы Дальнего Востока России // *Полис*. № 5.
- Гликман** Е. 2009. *Власти России делают все, чтобы потерять Дальний Восток* (<http://www.newsland.ru/News/Detail/id/352192/cat/42/>)

?_openstat=ZGlyZWN0LnIhbmRleC5ydTsxNTg2MjA2OzQ3MjAwMjQ7eWfuZGV4LnJlOmdlYXJhbnRlZQ).

Дерябин А.А. 1998. «Русский проект»: конструирование национальной истории и идентичности (<http://www.nsu.ru/psych/internet/bits>).

Дидух Н.Н. 2009. *Трудовая миграция как фактор развития Дальневосточного региона (Социологический анализ)*. Автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. соц. наук. — Хабаровск.

Дятликович В. 2008. «Закреть» генерала // *Русский репортер*. 7.02.

Заусаев В.К. 2009. *Стратегический план устойчивого социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года*. — Хабаровск.

История Дальнего Востока СССР: период феодализма и капитализма (XVII в. — февраль 1917 г.). 1983. — Владивосток.

Ишаев В.И. 1998. *Особый район России*. — Хабаровск.

Кабузан В.М. 1985. *Дальневосточный край в XVII — начале XX века (1640 — 1917)*. — М.

Концепция стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. 2007 (<http://www.minregion.ru/WorkItems/NewsItem.aspx?NewsID=556>).

Кузин А.В. 2004. *Военное строительство на Дальнем Востоке СССР: 1922—1941 гг.* Дисс. на соискание уч. степени д. ист. наук. — Иркутск.

Кулюшин Н.Д. 2007. Шиитская модель теократии: от имамата к вelayat-e факих // *Полития*. № 4.

Лакофф Д. 1990. Метафоры, которыми мы живем // Арутюнова Н.Д., Журина М.А. (ред.) *Теория метафоры*. — М.

Лобок А.М. 1997. *Антропология мифа*. — Екатеринбург.

Мисюров Д.А. 1999. *Политика и символы*. — М.

Московичи С. 1998. *Машина, творящая богов*. — М.

Мотрич Е.Л. 1999. Население Дальнего Востока и стран СВА: современное состояние и перспективы развития // *Перспективы Дальневосточного региона: население, миграция, рынки труда*. — М.

Мюрдаль Г. 1972. *Современные проблемы «третьего мира»*. — М.

Нечаев В.Д. 1997. Миф провинциальности: содержание и механизмы возникновения // *Формирование и функции политических мифов в постсоветских обществах*. — М.

Олсон М. 1998. *Возвышение и упадок народов. Экономический рост. Стагфляция. Социальный склероз*. — Новосибирск.

Осипов Г.Р. 2007. *Взаимодействие формальных и неформальных методов управления в строительной отрасли города Хабаровска*. Автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. соц. наук. — Хабаровск.

Песков В.М. 2004. *Российский Дальний Восток в глобализирующемся АТР // Социально-политические процессы на Дальнем Востоке России: Анализ, регулирование, прогноз*. — Хабаровск.

Пивоваров Ю.С. 2006. Русская Власть и публичная политика (Заметки историка о причинах неудачи демократического транзита) // *Полис*. № 1.

Портяков В.Я. 2004. Экономическая катастрофа грозит Дальнему Востоку // *Демоскоп*. № 159—160 (<http://demoscope.ru/weekly/2004/0159/gazeta06.php>).

Ремнев А.В. 2004. *Россия Дальнего Востока: Имперская география власти XIX — начала XX века.* — Омск.

Сергеев В.М., Казанцев А.А. 2007. Сетевая динамика глобализации и типология «глобальных ворот» // *Полис*. № 2.

Смирнягин Л.В. 2008. Дальний Восток: Новые подходы к старым проблемам // *География*. № 11.

Унтергербер П.Ф. 1900. *Приамурский край в XIX веке.* — СПб.

Филиппов А.Ф. 2006. Политическая эзотерика и политическая техника в концепции Карла Шмитта // *Полис*. № 3.

Цуладзе А. 1999. *Формирование имиджа политика в России.* — М.

Чернов М. 2003. *Дальний Восток может стать китайским* (<http://www.rbcdaily.ru/archive/2003/11/28/48842>).

Эйдельман Н.Я. 1991. *Твой XVIII век. Прекрасен наш союз.* — М.